

Виктор Вургафтик

Что мне делать?

(Киев)

(Октябрь 1971 г.)

Я согласен с тем, что в делах человека не может быть истины. Я думаю, что некоторый намёк на истину содержится лишь в той ускользающей красоте, которой обладают произведения его рук – будь-то художественные произведения или уравнения физики или машины. Эта красота не идёт вглубь до бесконечности, иначе произведения эти не были бы материальны. Они материальны потому, что состоят из мазков или обозначений или деталей, которые сами по себе уже не прекрасны. Но если другому человеку дано воспринять произведение, красота его в душе этого человека на одно мгновение уходит в бесконечность, и он не видит в нем материальных элементов, даже очень тонких. Тогда он видит истину.

Но именно благодаря этим элементам произведение искусства о чем-то рассказывает, уравнение физики несёт какую-то информацию, машина удовлетворяет какие-то человеческие нужды. Следовательно, во всем этом – рассказе, информации, нуждах – нет и не может быть истины. С этой стороны любое произведение ценно лишь потому, что указывает область, в которой нет истины. По мере развития физики или техники эта область расширяется, ибо новое уравнение охватывает неизмеримо больше явлений, чем старое, а новая машина удовлетворяет неизмеримо большим потребностям. Но обыкновенный человек, вникая в новое уравнение или пользуясь новой машиной, скоро понимает, что этим решаются какие-то побочные его проблемы, а главные, относящиеся к жизни и смерти, остаются по-прежнему нерешёнными. Тогда он думает, что его сделает счастливым вот эта новейшая машина, и вновь обманывается. Со временем он, может быть, начинает понимать, что истина лежит где-то за пределами всех бывших, настоящих и будущих произведений и единственная ценность содержания их состоит в том, чтобы хоть незначительно сузить область, где она есть. Впрочем, эта ценность не совсем единственная: некоторым на мгновение дано увидеть сужение до конца, и тогда перед ними встаёт истина.

И увидев в чём-либо бездонную красоту, я утрачиваю о нём все сведения, а утратив все сведения о чём-либо, я вижу в нём бездонную красоту.

О своих воззрениях я пишу и говорю. И всё время забываю, что истины нет и в моих словах. Вернее, я часто помню это, но полагаю, что сказанное мною всё же может быть другим полезно. Но если так действительно будет, то не благодаря мне, а потому, что это будет им дано; я же говорю им ложь. Но от этого мне не только не становится худо, а, напротив, я чувствую удовлетворение, как от полезного и доброго дела. Вот и сейчас я рад, что мне удалось написать всё это и тем кому-то принести пользу. Я знаю, что должен сознавать свою вину и мучиться ею – ведь по своей воле я делаю только зло, а

если когда и выходит добро, то не благодаря мне. Но я отношусь к этому легко, и нет во мне раскаяния.

Для меня всё это очень подозрительно: как может человек служить орудием для добра, если он легко относится к самому страшному – так, будто лично его оно не касается? Недавно я случайно встретил одну знакомую, и разговор довольно естественно перешёл к неистинности почти всего, что нам дорого: как раз перед этим я размышлял о чём-то близком, а она стала говорить об одном учёном, который своей машине уделяет куда больше внимания, чем науке. Я объяснял, почему я думаю, что истины нет ни в машине, ни в науке самих по себе, и спросил, много ли они помогут тому, кто знает о своей близкой смерти. И спросил я об этом легко – я не испытал в этот момент ничего подобного ужасу и беспомощности человека в таком положении.

Я испытываю это тогда, когда беда грозит лично мне или моим близким, пусть даже очень отдалённо. Но тогда я ничего не пишу и ни с кем не говорю. Конечно, эту эмоциональную слабость можно отнести за счёт моей психастении: меня не хватает на то, чтобы страдать и одновременно что-то делать, и вообще чувства мои, как правило, бледны, если не вызваны тем, что касается меня прямо. Но не всё ли равно, из-за чего я не способен этим заниматься?

А, может быть, дело просто в том, что я не проникся всем этим, понимаю и принимаю лишь разумом, но не всем своим существом? Может быть, хотя я и вижу правильность того, о чём говорю, и есть в нём как будто такое, чего я ни от кого не узнал, оно всё же является внешним по отношению ко мне? Но тогда какое дело – моё?

Казалось бы, мне просто следует привести свои воззрения в согласие со своей натурой – считать, что в делах человеческих есть доля истины, – тогда, рассказывая о них /воззрениях/, я смогу думать, что творю добро. Но это у меня уже было, и долго. И ни на одних я не мог остановиться, и ни на одни не мог положиться в минуту страха. А на теперешние могу, и в них моя вера. Но делать здесь мне нечего.